

8p, (092)
П. 83

М. А. Протопоповъ.

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКІЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

I. В. Г. Бѣлинскій. — II. Левъ Толстой. — III. Н. В. Шелгуновъ. — IV. Всеволодъ Гаршинъ. — V. С. Т. Аксаковъ. — VI. А. М. Жемчужниковъ. — VII. Глѣбъ Успенскій. — VIII. О. М. Рѣшетниковъ. — IX. Н. Н. Златовратскій. — X. Н. Е. Петропавловскій (Каронинъ).

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

о. Литографія Б. М. Вольфа, Разъѣзжая 15.

1898.



8 P1/0
П83
Летучий голубок

М. А. Протопоповъ.

ПЕТЕРБУРГ
КНИЖНО-ПРОДАВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ.

I. В. Г. Бѣлинскій. — II. Левъ Толстой. — III. Н. В. Шелгуновъ. — IV. Всеволодъ Гаршинъ. — V. С. Т. Аксаковъ. — VI. А. М. Жемчужниковъ. — VII. Глѣбъ Успенскій. — VIII. Э. М. Рѣшетниковъ. — IX. Н. Н. Златовратскій. — X. Н. Е. Петропавловскій (Каронинъ).

*401
1/2
инв. № 2276*

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

ОРЕНБУРГСКОЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ
БИБЛИОТЕЧНОЕ
ИЗДАНІЕ № 2608

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ПРОВЕРЕНО 1938

Типо-Литографія Б. М. Вольфа, Разъѣзжая 15.

1898.

Блаженъ землемыслъ люте,
Его имя вѣкъ вѣстоу, чаша вѣстоу
Его духа вѣстоу вѣстоу
Другой оубо вѣстоу вѣстоу

Иерусалимъ

СЕРГѢЙ ТИМОФЕЕВИЧЪ АКСАКОВЪ.

Блаженъ невлюбивый поэтъ,
 Въ комъ мало желчи, много чувства:
 Ему такъ искрененъ привѣтъ
 Друзей спокойнаго искусства.

Некрасовъ.

I.

Среди русскихъ стихотворцевъ есть одинъ, котораго вся грамотная Россія издавна называетъ «дѣдушкой». Этимъ почтительно-фамильярнымъ и ласково-шутливымъ эпитетомъ очень хорошо характеризуется мѣсто, которое занимаетъ Крыловъ въ нашей литературѣ. Да, это именно «дѣдушка», богатый жизненнымъ опытомъ старикъ, котораго сердце далеко не охладѣло и разумъ нисколько не ослабѣлъ, но который столько перевидалъ на своемъ вѣку, что уже ничему не удивляется и ни отъ чего не приходитъ въ негодованіе. «Всѣ мы—люди, всѣ человѣки», какъ бы говорить онъ про себя и съ насмѣшливою снисходительностью, безъ желчи, безъ озлобленія, а съ добродушнымъ, сдержаннымъ стариковскимъ юморомъ подтруниваетъ надъ нашими слабостями. Вотъ моська, которая лаетъ на слона затѣмъ, чтобы сказали: «знать, она сильна»; вотъ кукушка, которая хвалитъ пѣтуха за то, что хвалитъ онъ кукушку; вотъ осель, глубокомысленно совѣтующій соловью подучиться у знакомаго пѣтуха; вотъ легкомысленная стрекоза, вотъ не по разуму усердный медвѣдь, льстивая и лукавая лиса, глупая ворона и т. д. и т. д.: что все это такое? это наша жизнь и это мы сами, это все то, что ежедневно мы встрѣчаемъ и испытываемъ въ дѣйствительности, отъ чего волнуемся, чѣмъ возмущаемся и въ себѣ и въ другихъ. Все это еще не приглядѣлось намъ, наши пороки и недостатки представляются намъ грѣхами, требующими кары, а отнюдь не стихійными свойствами несовершенной человѣче-

ской природы. Оттого мы сердимся и горячимся тамъ, гдѣ много-опытный «дѣдушка» только лукаво улыбается: люди ему смѣшны, но не гадки, и онъ находитъ, что въ концѣ концовъ съ ними очень можно жить... при нѣкоторыхъ предосторожностяхъ, какъ-то: не спрашивать совѣта у ословъ, не вѣрить лисьимъ похваламъ, не дружить съ дураками и т. д. Все это совѣты не хитрые, да и вся дѣдушкина мудрость не высокаго полета, но это мудрость непосредственно житейская, будничная, отъ которой умъ не вскружится, но которая нужна и полезна во всякое время и на всякомъ мѣстѣ. За идеалами мы къ «дѣдушкѣ» не обратимся, да не всегда слушаемся и его морали, но житейской сметкѣ, практическому такту, русскому ясному «себѣ на умъ» мы у него охотно поучимся. Въ этой сферѣ онъ первый авторитетъ, тутъ ему и книги въ руки.

Приблизительно такое же мѣсто, какое занимаетъ Крыловъ между нашими стихотворцами, Сергѣй Тимофеевичъ Аксаковъ занимаетъ между нашими прозаиками. Это тоже своего рода «дѣдушка», совсѣмъ не сверстникъ нашъ, человѣкъ другаго міра, другой эпохи, другихъ понятій и, все-таки, не только не чуждый, но и чрезвычайно симпатичный намъ. Но эта симпатія—совсѣмъ иного характера, нежели симпатія наша къ Крылову. Дѣдушку Крылова мы любимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы и побаиваемся, потому что онъ не слишкомъ позволяетъ намъ кивать на Петра, и если мы ужъ очень весело разсмѣемся на чужой счетъ, то онъ какъ разъ напомнитъ:

Чѣмъ кумушекъ считать трудиться,

Не лучше-ль на себя, кума, оборотиться?

А это конфузно, а иногда и вовсе обидно. Аксаковъ—другое дѣло. Онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ дѣдушекъ, съ которыми не церемонятся рѣзвые внучата и обходятся совершенно за панибрата. Беззлобіе, наивность и восторженность—вотъ три главныхъ нравственныхъ черты духовной фізіономіи Аксакова, поскольку онѣ выразились въ его литературныхъ произведеніяхъ. Именно о такихъ людяхъ и сложилась поговорка, что они *мухи не обидятъ*. Рассказываетъ, напр., Аксаковъ о своемъ предкѣ, и такъ какъ онъ—само чистосердечіе, то рассказываетъ, очевидно, святую правду и вдругъ замѣчаетъ, что его рассказъ, по свойству самого сюжета,

начинаетъ принимать рѣшительно трагическій характеръ. Какъ быть? Очень просто: «я не стану болѣе говорить о тѣмной сторонѣ моего дѣдушки; лучше опишу вамъ одинъ изъ его добрыхъ, свѣтлыхъ дней». Именно *лучше*, т. е. отраднѣе, пріятнѣе для нашего любвеобильнаго повѣствователя. Но сюжетъ опять беретъ свое, опять начинаютъ рисоваться мрачныя и страшныя картины семейнаго самодурства, и Аксаковъ опять прибѣгаетъ къ своему средству: «я не буду распространяться о томъ, что онъ (дѣдъ автора— Степанъ Михайловичъ Багровъ) дѣлалъ, воротаясь домой. Это было бы ужасно и отвратительно. По прошествіи тридцати лѣтъ тетки мои вспоминали объ этомъ времени, дрожа отъ страха». Но дальше Аксакову приходится опять трудно: ему предстоитъ повѣдать намъ уже не о семейномъ, а о помѣщичьемъ самодурствѣ другаго своего родственника, а эта тема еще, пожалуй, почище первой. Опять—какъ быть? А все такъ же: «я не стану рассказывать подробно, какую жизнь онъ (Михаилъ Максимовичъ Куролесовъ) велъ въ своихъ деревняхъ, особенно въ Парашинѣ, а также въ уѣздныхъ городишкахъ: эта была бы самая отвратительная повѣсть». Черезъ страницу, рассказавши кое-что, Аксаковъ глухо прибавляетъ: «бывали насилія и похуже», а на слѣдующей страницѣ опять: «о болѣе возмутительныхъ насиліяхъ я умалчиваю», а еще черезъ страницу: «я рассказалъ десятую долю того, что знаю». Но—*зачѣмъ же такъ секретно?* спросите вы, какъ Чацкій. Затѣмъ, отвѣтимъ мы, что иначе Аксаковъ не можетъ: на неправду онъ неспособенъ, а на правду у него языкъ не поворачивается. Подобно тому какъ тетки его черезъ тридцать лѣтъ вспоминали о родительскихъ истязаніяхъ «дрожа отъ страха», такъ и онъ безъ перваго разстройства не могъ бы сказать *всею* и у него хватило духу едва на «десятую часть». Это разъ. А другое, если человѣкъ по натурѣ не способенъ *мухи обидѣть*, то какъ ему обидѣть память любимаго и чтимаго,—да, не смотря ни на что, *любимаго и чтимаго* дѣда? И, наконецъ, какъ *обидѣть* старую русскую жизнь, это такъ называемое «доброе старое время», расскажем о «возмутительныхъ насиліяхъ», безвозбранно совершавшихся въ немъ? Все это до того противорѣчило кроткой, мягкой, всепрощающей природѣ Аксакова, что мы, безъ преувеличенія, усматриваемъ ифоторый нравственный подвигъ въ томъ, что онъ рѣшился рассказать хотя бы только «десятую часть».

Таково было беззлобіе Аксакова. А наивность его, въ смыслѣ нравственнаго качества, а не умственнаго недостатка, происходила изъ того же самаго источника, — отъ любящаго, привязчиваго, благодарнаго сердца. Аксакову было дорого, близко и мило все, что связывалось съ его личностью, входило въ его воспоминанія, начиная съ дѣда, хотя бы то и тирана-дикаря, и кончая неодушевленными предметами. Мало того, что «знакомые потоки, златыя игры первыхъ лѣтъ и первыхъ лѣтъ уроки» занимаютъ въ воспоминаніяхъ Аксакова значительное мѣсто, — онъ даже о мебели, о вещахъ своего дома не можетъ говорить безъ умиленія, а иногда и безъ почтенія. Такъ, упомянувши о какомъ-то мѣдномъ ларцѣ, принадлежавшемъ его матери, Аксаковъ пресерьезно прибавляетъ: «судьба этого мѣднаго ларца достойна вниманія. Мать принесла его въ приданое въ 1788 году, съ ленточками, позументиками, кружевцами; въ девяностыхъ годахъ и даже въ 1801 (какая точность!) году онъ наполнялся калеными орѣхами; въ 1807 году въ немъ лежало болѣе ста тысячъ рублей деньгами и векселями и на большую сумму брилліантовъ и жемчуговъ, а теперь онъ стоитъ подъ письменнымъ рабочимъ столомъ моего сына, набитый старинными грамотами». Не иронизируйте, не спрашивайте, чѣмъ же собственно «судьба» ларца «достойна вниманія» читающей публики, а лучше подивитесь этой силѣ и свѣжести чувства престарѣлаго мемуариста, который, въ полнотѣ своего субъективнаго настроенія, не задумываясь, придаетъ этому настроенію объективное значеніе, привлекаетъ къ участію въ немъ и насъ, людей постороннихъ и равнодушныхъ. Это не претенціозность, не навязчивость, не кокетничанье, — это именно безобидная и безвредная наивность, просто-душно увѣренная, что міръ не можетъ не интересоваться «судьбой» милыхъ и дорогихъ для сердца автора вещей. Я настаиваю на такой точкѣ зрѣнія больше всего въ интересахъ самого Аксакова. Только утвердившись на ней, можно совершенно удовлетворительно объяснить нѣкоторые, гораздо болѣе крупные факты изъ жизни Аксакова, можно понять, наприм., слѣдующее его заявленіе: «комитетъ (московской цензуры) перемѣстился въ домъ университетской типографіи, и я весь погрузился въ исполненіе моей должности (цензорской), которую очень полюбилъ, потому что она соотвѣтствовала моей склонности къ литературѣ». Полюбилъ цензуру, потому что любилъ литературу... Логики тутъ, конечно, не много, но факти-

ческая правда заявленія Аксакова не подлежит сомнѣнію и примирить, объяснить и оправдать все это можно именно съ рекомендаціею нами точки зрѣнія.

Такимъ же способомъ мы можемъ оборонить Аксакова и въ другихъ, не менѣ серьезныхъ случаяхъ. Онъ былъ искрененъ, когда, въ разборѣ романа Загоскина, говорилъ: «чувство народности, согрѣвающее весь романъ, невольно пробуждаетъ то же чувство, живущее въ душѣ каждаго русскаго человѣка, даже *забитою европейскимъ образованіемъ*». Но онъ былъ столь же искрененъ, когда писалъ: «во всю мою жизнь чувствовалъ я недостаточность моихъ научныхъ свѣдѣній, особенно положительныхъ знаній, и это много мѣшало мнѣ и въ служебныхъ дѣлахъ, и въ литературныхъ занятіяхъ». Европейское образованіе *забиваетъ*, а отсутствіе этого образованія *мѣшаетъ*: тутъ, конечно, опять нѣтъ строгой логики и нѣтъ настоящаго самосознанія, и всетаки Аксаковъ и въ этомъ случаѣ правъ—если не передъ читателемъ, то передъ своею совѣстью: въ качествѣ славянофила онъ долженъ былъ клясть европейское образованіе,—онъ это и сдѣлалъ; въ качествѣ человѣка искренняго и, кромѣ того, очень даровитаго, онъ не могъ не уважать этого образованія,—и онъ не задумался выразить и это свое уваженіе. Аксаковъ былъ человѣкъ чувства, а не логики,—увлеченія, а не убѣжденія.

Эта способность къ увлеченіямъ, доходившая именно до дѣтской или юношеской восторженности, сохранилась въ Аксаковѣ до старости, какъ это вообще бываетъ у цѣльныхъ, непосредственныхъ людей, про которыхъ именно и говорится: каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку. Вотъ напр., характерное воспоминаніе Аксакова изъ эпохи его первой молодости: «За первымъ же обѣдомъ я насмѣшилъ своихъ хозяевъ: узнавъ вовсе неожиданно, что они живутъ въ домѣ Ломоносова, я вскрикнулъ отъ радостнаго изумленія и едва не выскочилъ изъ-за стола. Съ юношескимъ увлеченіемъ принялся я ораторствовать, что жить въ домѣ Ломоносова, этого великаго русскаго гения—истинное счастье; что домъ его надобно бы сохранить, какъ памятникъ, во всей его неприкосновенности; что всякій русскій долженъ проходить мимо него съ непокрытой головой (что я впоследствии всегда и дѣлалъ). Всѣ смѣялись, говорили, что домъ прескверный, и еще болѣе подстрекнули мою восторженность, сказавъ, что нѣкоторая мебель, принадлежавшая

нѣкогда Ломоносову, сохранилась и теперь, что въ кабинетѣ стоитъ письменный столъ, забрызганный чернилами съ пера Ломоносова... Этого было довольно. Я едва могъ дожидаться конца обѣда, попросилъ позволеніе пойти въ кабинетъ хозяина и принялся цѣловать чернильныя пятна на довольно неуклюжемъ, полукругломъ дубовомъ столѣ».

Правда, рѣчь идетъ здѣсь о юношѣ, но, во-первыхъ, Аксаковъ и впоследствии—«всегда»—обнажалъ голову, проходя мимо дома, въ которомъ жилъ Ломоносовъ, а во-вторыхъ, вотъ, наприм., съ какимъ «стихотвореніемъ въ прозѣ» обращался старикъ Аксаковъ къ своей родинѣ,—не къ Россіи, а только къ Оренбургской губерніи: «Боже мой, какъ, я думаю, была хороша тогда эта дикая, дѣвственная, роскошная природа!—Нѣтъ, ты уже не та теперь, не та, какою даже и я зазналъ тебя — свѣжею, цвѣтущею, неизмѣтою отовсюду набѣжавшимъ разнороднымъ народонаселеніемъ! Ты не та, но все еще прекрасна, такъ же обширна, плодоносна и безконечно разнообразна, Оренбургская губернія!.. Дико звучать два эти послѣднія слова! Богъ знаетъ, какъ и откуда зашелъ тутъ бургъ!.. Но я зазналъ тебя, благословенный край, еще Уфимскимъ намѣстничествомъ! Свѣтлы и прозрачны, какъ глубокія, огромныя чаши, стоятъ озера твои—Кандры и Каратабынь. Многоводны и многообильны разнообразными породами рыбъ твои рѣки, то быстро текуція по долинамъ и ущельямъ между отраслями Уральскихъ горъ, то свѣтло и тихо незамѣтно, катящіяся по ковчигамъ твоимъ, подобно яхонтамъ, нанизаннымъ на нитку. Въ твоихъ быстрыхъ родниковыхъ ручьяхъ, прозрачныхъ и холодныхъ, какъ ледъ, даже въ жары знойнаго лѣта, бѣгущихъ подтѣнною деревьевъ и кустовъ, живутъ всѣ породы форелей, изящныхъ по вкусу и красивыхъ по наружности, скоро пропадающихъ, когда человѣкъ начнетъ прикасаться нечистыми руками своими къ дѣвственнымъ струямъ ихъ свѣтлыхъ прохладныхъ жилищъ. Свѣжи, зелены и могучи стоятъ твои разнородные черныя лѣса и рои дикихъ пчелъ шумно населяютъ нерукотворныя борты твои, заноса ихъ душистымъ липовымъ медомъ. И уфимская куница, болѣе всѣхъ уважаемая, не перевелась еще въ лѣсистыхъ верхнихъ рѣкахъ Уфы и Бѣлой! Мирны и тихи патріархальныя первобытныя обитатели и хозяева твои»...

Это писалъ уже сѣдовласый старецъ, литературный патріархъ.

«дѣдушка» въ полномъ смыслѣ слова. Не всякій юноша способенъ къ такому энтузіазму, и эта молодость души въ одно и то же время и трогаетъ васъ, и немножко смѣшить. Не въ томъ дѣло, что «блаженъ, кто смолоду былъ молодъ, блаженъ, кто во-время созрѣлъ»—тѣмъ лучше, тѣмъ *блаженнѣе*, если человѣкъ сберегъ среди жизненныхъ испытаній жаръ души, способность къ энтузіазму и къ любви. Но на что обращается этотъ энтузіазмъ, чѣмъ вызывается эта любовь? Говоря о *созрѣвшемъ* человѣкѣ, мы не можемъ обойти этотъ вопросъ. Если юноша пишетъ пылкіе стихи «къ ней», мы называемъ его влюбленнымъ; но за совершенно такіе же стихи, написанные старикомъ, мы обзовемъ его мышиннымъ жеребчикомъ. Всею своя пора: «сладокъ мускусъ новобрачнымъ, камфора годна гробамъ». Аксакова собственно приводило въ восторженное состояніе созерцаніе природы и воспоминанія дѣтства,—мотивы безукоризненные въ нравственномъ смыслѣ, но, конечно, не имѣющіе большой внутренней, идейной цѣны. Столько энтузіазма, такая пылкость чувства, такая страстность лиризма,—по поводу чего?—по поводу оренбургскихъ «свѣтлыхъ и прозрачныхъ» озеръ, «быстротекущихъ» рѣкъ съ «изящными по вкусу и красивыми по наружности» форелями, «свѣжихъ, зеленыхъ и могучихъ» лѣсовъ! Предметъ такъ безразличенъ, что чѣмъ выше и патетичнѣе поднимается тонъ Аксакова, тѣмъ очевиднѣе становится его неумѣтность и несообразность, и когда нашъ лирикъ договаривается, наконецъ, въ поэтическомъ восторгѣ до «нерукотворныхъ бортій» и «наиболѣе уважаемыхъ» оренбургскихъ куницъ,—намъ, воля ваша, очень трудно удержаться отъ улыбки. Къ нашему уваженію передъ такою душевною свѣжестью начинаетъ примѣшиваться нѣкоторая ироническая струйка. Если ужъ изъ-за Александра Македонскаго, который дѣйствительно былъ великій человѣкъ, не стоитъ стулья ломать, то изъ за озеръ, рѣкъ, форелей, пчелъ и куницъ, хотя бы то и «уважаемыхъ», тѣмъ болѣе не стоитъ впадать въ лирической экстазъ. Дѣлу нисколько не помогаетъ и патриотическая скорбь по поводу замѣны Уфимскаго намѣстничества Оренбургской губерніей. Совершенно даже наоборотъ.

Эта черта Аксакова—способность къ восторженнымъ и мало осмысленнымъ увлеченіямъ—быть-можетъ ни въ чемъ такъ не выразилась, какъ въ его отношеніяхъ къ Гоголю. Это было не уваженіе, а какое-то языческое поклоненіе, не любовь, а какое-то

институтское обожаніе, выражавшееся иногда въ формахъ, наивныхъ до комизма. Панаевъ рассказываетъ, наприм., что когда Гоголь удостоивалъ обѣдать у Аксаковыхъ, передъ его приборомъ ставилась посуда розоваго стекла, тогда какъ всѣ прочіе гости должны были довольствоваться бѣлыми рюмками и стаканами. Кажется, это стоитъ цѣлованія чернильныхъ пятенъ на письменномъ столѣ Ломоносова. Какъ ни любилъ Гоголь всякаго рода поклоненіе себѣ, но въ письмѣ къ своей пріятельницѣ Смирновой выразился однажды объ Аксаковыхъ такимъ образомъ: «они способны залюбить не на животъ, а на смерть. Я бѣжалъ отъ ихъ любви, ощущая въ ней что-то приторное; я видѣлъ, что они способны смотрѣть распаленными глазами на предметъ любви своей». Почти то же самое Гоголь имѣлъ жестокость высказать непосредственно Аксакову въ одномъ изъ своихъ заграничныхъ писемъ: «Въ любви вашей ко мнѣ я никогда не сомнѣвался, добрый другъ мой Сергѣй Тимоѣевичъ. Напротивъ, я удивлялся только излишеству ея, — тѣмъ болѣе, что я на нее не имѣлъ никакого права: я никогда не былъ особенно откровененъ съ вами и почти ни о чемъ томъ, что было близко душѣ моей, не говорилъ съ вами, такъ что вы скорѣе могли меня узнать только какъ писателя, а не какъ человѣка, и этому, можетъ быть, отчасти способствовалъ милый сынъ вашъ Конст. Сергѣевичъ. Въ противность составившейся въ Москвѣ обо мнѣ сказкѣ, которой вы такъ охотно вѣрите, что я, т.-е., люблю угожденія и похвалы какихъ-то знатныхъ Маниловыхъ, скажу вамъ, что я скорѣе старался отталкивать отъ себя, чѣмъ привлекать всѣхъ тѣхъ, которые способны слишкомъ сильно любить; я и съ вами обращался нѣсколько не такъ, какъ бы слѣдовало».

Этими примѣрами мы можемъ ограничиться, хотя ихъ можно было бы привести изъ біографіи Аксакова сколько угодно. Берсенева, одинъ изъ персонажей повѣсти Тургенева «Наканунъ», говорилъ, что назначеніе человѣка состоитъ въ томъ, чтобы поставить себя нумеромъ вторымъ. Если такъ, то никто лучше Аксакова не выполнилъ своего назначенія. Ничѣмъ, никакими разочарованіями и утратами непобѣдимое добродушіе, нелицемѣрная скромность въ оцѣнкѣ собственныхъ силъ, самая искренняя благожелательность по отношенію къ людямъ, безкорыстная радость при чужомъ успѣхѣ, не омрачаемая ни малѣйшей тѣнью зависти или горечи, — всѣ эти нравственныя свойства, совокупность которыхъ

называлась у насъ прежде идеализмомъ, а теперь называется альтруизмомъ, все это мы находимъ у Аксакова. Это очень хорошо, и для домашняго обихода этихъ свойствъ совершенно достаточно, но для общественнаго дѣятеля всего этого слишкомъ мало. Не въ Аркадіи мы живемъ, не розами устланъ путь нашъ, не платоническими благопожеланіями достигаются благія и великія дѣла. Вспомнимъ слова поэта:

Покорись—о, ничтожное племя,
Неизбѣжной и горькой судьбѣ;
Захватило васъ трудное время
Неготовыми къ трудной борьбѣ:
Вы еще не въ могилѣ, вы живы,
Но для дѣла вы мертвы давно,
Суждены вамъ благіе порывы,
Но свершить ничего не дано...

Некрасовъ говорилъ это, имѣя въ виду свое племя, т. е. свое поколѣніе, но, конечно, его упрекъ или сарказмъ могъ имѣть значеніе только по отношенію къ извѣстному нравственному типу. Герценъ, Боткинъ, Бѣлинскій, Катковъ, Бакунинъ, Станкевичъ, Грановскій—все это были люди одного поколѣнія и совершенно различной духовной организаціи. Съ другой стороны, тотъ типъ «прекраснодушныхъ» людей, который мы имѣемъ теперь въ виду, людей «благихъ порывовъ», мертвыхъ для дѣла, никогда не готовыхъ для борьбы—этотъ типъ встрѣчается рѣшительно во всѣхъ нашихъ поколѣніяхъ, видоизмѣняясь во внѣшнихъ своихъ формахъ, но сохраняя вполне свою основную нравственную сущность. Пантенистическая, «жизнерадостная» любовь Аксакова дѣлала его неспособнымъ «къ трудной борьбѣ», точно также какъ въ его умственномъ запасѣ рѣшительно не было такой центральной идеи, за которую бы нужно было и стоило бороться. Говоря метафорически, къ нему не шли боевыя латы, но въ шлафрогѣ, въ халатѣ, въ хозяйственномъ парусинномъ пальто и въ охотничьемъ казакинѣ онъ являлся типичною фигурою, не лишенною ни красоты, ни оригинальности. Такихъ простодушныхъ «дѣдушекъ» рѣдко уважаютъ, но горячо любятъ; ихъ не слушаютъ,—да они и сами не претендуютъ на учительство,—но охотно слушаютъ и не напрасно: ихъ рассказы всегда согрѣты живымъ участіемъ къ предмету и отличаются фактической достовѣрностью. Не надо только заражаться ихъ востор-

женностью, не надо забывать, что передь вами одинъ изъ тѣхъ «Божьихъ людей», которые какъ будто рождаются съ розовыми очками на носу, органически неспособны къ порицанію, къ отрицанію, къ суровой правдѣ.

Какъ ни объективны, вообще говоря, литературныя произведенія Аксакова, въ особенности со стороны изложенія и колорита, тѣмъ не менѣе мы найдемъ въ нихъ выраженіе всѣхъ тѣхъ основныхъ нравственныхъ свойствъ его, о которыхъ только-что шла рѣчь.

II.

Въ одномъ изъ примѣчаній (т. III, стр. 335) къ сочиненіямъ своего отца Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ говоритъ: «появленіе сочиненій Гоголя произвело такой рѣзкій переворотъ въ общественномъ и, въ частности, въ литературномъ сознаніи, что сочувствіе или несочувствіе къ Гоголю опредѣляло степень развитія и способность къ развитію самого человѣка. Это былъ рубежь, перейдя черезъ который С. Т.—чѣ растерялъ всѣхъ своихъ литературныхъ друзей прежняго псевдоклассическаго нашего литературнаго періода. Они остались по *сю сторону Гоголя*». Такое раздѣленіе литературной дѣятельности Аксакова-отца на двѣ половины—по *ту* и по *сю сторону Гоголя* столько же удобно, сколько справедливо. Дѣйствительно, если въ нравственномъ смыслѣ Аксаковъ былъ всегда вѣренъ себѣ, то въ литературномъ отношеніи онъ пережилъ крутой переломъ, который совершенно измѣнилъ его писательскую фizioномію. Переломъ этотъ произошелъ мирно, спокойно, безболѣзненно, почти незамѣтно,—не такъ, какъ происходили соответственные переломы въ умственной жизни, наприм., Вѣлинскаго и нѣкоторыхъ его друзей. Причина понятна: талантъ Аксакова былъ талантъ формы, такъ что переломъ, совершившійся въ немъ, былъ отнюдь не переходомъ, всегда мучительнымъ, отъ одного міросозерцанія къ другому, а просто, если такъ можно выразиться, перемѣной литературнаго костюма. Въмѣсто классической тоги, въ которую, глядя на другихъ, кутался и въ которой путался юноша Аксаковъ, возмужавшій Аксаковъ надѣлъ, по примѣру Гоголя, обыкновенный сюртукъ, который вскорѣ, подъ вліяніемъ старшаго сына, Константина, былъ замѣненъ зипуномъ, мурмошкой и рубашкой-

косовороткой. Это былъ процессъ простаго очищенія эстетическихъ вкусовъ и привычекъ, но отнюдь не развитія какихъ-нибудь нравственныхъ или общественныхъ идей.

Въ періодъ своей молодости, классически настроенный Аксаковъ восхищался, наприм., такими виршами:

Влисталъ конь бѣлъ подъ нимъ, какъ снѣгъ Атлант-
скихъ горъ,
Стрѣла летяща—бѣгъ, свѣща, горяща—взоръ,
Дыханье—дымъ и огонь, грудь и копыта—камень,
На немъ Малекъ-Адель или сраженій пламень.

Отвѣчая такимъ вкусамъ и подражая такимъ образцамъ, Аксаковъ писалъ въ такомъ же родѣ:

Когда бы я владѣлъ такимъ въ стихахъ искусствомъ,
Какимъ одушевленъ къ тебѣ почтенъя чувствомъ,
Славнѣй Софоклова гремѣлъ бы Филоктеть,
И въ восхищеніи ему внималъ бы свѣтъ;
Но скуденъ даръ во мнѣ чувствъ выразить премѣны,
Гоненія судьбы, страстей противныхъ брань и т. д.

Такимъ «классикомъ» оставался Аксаковъ до начала тридцатыхъ годовъ, т.-е. до появленія въ литературѣ Гоголя. Замѣтимъ мимоходомъ, что этотъ — «по ту сторону» Гоголя—періодъ дѣятельности Аксакова ознаменовался еще полемической борьбой нашего классика съ Николаемъ Полевымъ, извѣстнымъ издателемъ «Московского Телеграфа». Борьба эта преисполнена глубокаго комизма и лучше всего доказываетъ неспособность Аксакова къ настоящей, т.-е. систематической, принципиальной, обдуманной борьбѣ. Борьбу эту Аксаковъ велъ въ союзѣ съ водевилистомъ того времени Писаревымъ, который поражалъ Полевого съ театральной сцены, наприм., такими куплетами:

У насъ теперь народъ затѣпный,
Пренебрегаетъ простотой:
Всѣмъ милъ цвѣтокъ оранжерейный
И осель накурнулъ полевой.

Полемиическая соль куплета заключается въ послѣднемъ стихѣ. Аксаковъ, съ своей стороны, извилъ Полевого стихами изъ сатиръ Буало, въ своемъ собственномъ дубоватомъ переводѣ:

Пиши творенія высокія, поэтъ,
 И жди, чтобъ мелочей какой-нибудь издатель,
 Любимцевъ публики безсовѣстный ласкатель,
 Который разумѣть языкъ недавно сталъ,
 Подкупленнымъ перомъ тебя вездѣ мараль и пр.

Само собою разумѣется, что Полевой, какъ настоящій литературный и журнальный боецъ, руководившійся широкими задачами и принципами, едва замѣчалъ эти булавочные уколы, и если иногда полемиически отмахивался отъ Аксакова и его друзей, то дѣлалъ это мимоходомъ и безъ всякаго азарта: на его рукахъ было дѣло поважнѣе, передъ нимъ стояли враги посерьезнѣе. Но самъ Аксаковъ усматривалъ въ своихъ выходкахъ противъ Полевого, котораго роли и значенія онъ, разумѣется, не понималъ, чуть ли не гражданскій подвигъ. Не безъ торжественности заявлялъ онъ въ «классическомъ» журналѣ того времени (1829) «Галатея»: «можетъ-быть г. Полевой хорошій человекъ и хорошій гражданинъ: я охотно этому вѣрю. Будь онъ дурной писатель,—никогда моя рука не поднялась бы противъ него; но лицо, представляемое имъ въ нашей литературѣ, не только смѣшно, но и вредно: какъ издатель журнала, который прежде имѣлъ достоинство, онъ разсѣваетъ свои кривые толки, несправедливыя и пристрастныя сужденія; слѣдовательно, обличать его въ неправдѣ и невѣжествѣ, унижать его литературное лицо—есть долгъ каждаго любителя словесности». И Аксаковъ пресерьезно обвинялъ разносторонне-образованнаго Полевого въ невѣжествѣ на томъ основаніи, что тотъ нигдѣ не кончилъ курса, тогда какъ самъ Аксаковъ кончилъ казанскій университетъ, о чемъ, однако, двадцать пять лѣтъ спустя, вспомнилъ такимъ образомъ: «въ мартѣ я получилъ аттестатъ, поистинѣ не заслуженный мною. Мало вынесъ я научныхъ свѣдѣній изъ университета».

Болѣе подробнаго рассмотрѣнія этотъ эпизодъ изъ литературной, до-гоголевской жизни Аксакова едва ли заслуживаетъ. Приближалась пора наступленія въ нашей литературѣ реализма или натурализма. Вышли въ свѣтъ «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» и разные Фебы Филоктеты, Малекъ-Адели были совершенно заслонены прозаическою фигурою Паньки Рудого. Тогдашнее молодое литературное поколѣніе, истолкователемъ идеаловъ котораго явился Бѣлинскій, сразу почувствовало въ безхитростныхъ «Веч-

рахъ» дыханіе новой жизни, прониклось энтузіазмомъ къ новатору, и дѣло натурализма съ первыхъ же неувѣренныхъ шаговъ его было наполовину уже выиграно. Обветшавшій классицизмъ съ его условностью, романтизмъ съ его жеманностью и риторичностью надѣли всѣмъ до отвращенія, и ихъ пѣсенка была, очевидно, снѣта. Аксакову въ это время было болѣе сорока лѣтъ отъ роду, т.-е. онъ находился въ такомъ возрастѣ, когда убѣжденія человѣка отливаются въ окончательную форму, становятся почти умственными привычками, а вѣдь привычка—вторая натура. Тѣмъ не менѣе, у него нашлись силы, чтобъ оцѣнить новое литературное теченіе и, отрѣшившись отъ давно усвоенныхъ понятій, онъ отдался ему со всею искренностью новообращеннаго. На это были двѣ причины: одна—внѣшняя, другая—внутренняя. Внѣшняя причина заключалась въ томъ, что въ лицѣ своего старшаго сына, пользовавшагося въ глазахъ отца несомнѣннымъ умственнымъ авторитетомъ, Аксаковъ видѣлъ фанатическаго поклонника гоголевскаго направленія. Константинъ Аксаковъ принадлежалъ въ то время къ московскому кружку Бѣлинскаго, а для этого кружка произведенія Гоголя были своего рода Кораномъ. Вторая причина заключалась въ самой сущности натурализма, какъ эстетическаго ученія, и точно также въ свойствахъ, въ особенностяхъ литературнаго таланта самого Аксакова. Натурализмъ, какъ показываетъ самая этимологія слова, есть доктрина, провозглашающая господство *натуры*, т.-е. природы въ ея неподкрашенныхъ, но и не случайныхъ, не бессмысленныхъ, а *типическихъ* проявленіяхъ. Между тѣмъ литературное дарованіе Аксакова, невѣдомо (въ то время) для него самого, отличалось прежде всего именно непосредственностью, искренностью, правдивостью. Требования ходульнаго классицизма шли въ разрѣзъ съ самою сущностью этого дарованія, парализовали его силу, подѣкали ему крылья. Только натурализмъ и могъ призвать къ развитію и къ жизни такой талантъ, какъ талантъ Аксакова, натурализмъ, поставляющій правду и простоту изображеній, то, что называлось тогда «вѣрностью дѣйствительности», краеугольнымъ камнемъ истиннаго творчества. Это было цѣлымъ откровеніемъ для Аксакова. Какъ моисѣевскій герой не зналъ, что онъ говоритъ прозой, такъ и Аксаковъ, давно будучи въ душѣ настоящимъ художникомъ, располагая почти всѣми средствами творчества, рѣшительно не подозрѣвалъ этого и выбивался изъ силъ, чтобы по всѣмъ прави-

ламь классической реторики воспѣть какого-то никому не нужнаго и не интереснаго Филоктета.

Переломъ совершился не сразу, какъ не сразу совершается всякое выздоровленіе, въ особенности послѣ застарѣлаго недуга. Прежде чѣмъ рѣшиться начать говорить о людяхъ съ тою простою, какая требовалась натурализмомъ, Аксаковъ, точно пробуя, испытывая самого себя, рѣшился для перваго раза дать безхитростный разсказъ о рыбахъ и птицахъ, хорошо извѣстныхъ ему какъ страстному рыболову и охотнику, и плодомъ этого рѣшенія явились два произведенія: «Записки объ уженьи рыбы» и «Записки ружейнаго охотника». Въ теоретическомъ смыслѣ Аксаковъ въ это время уже совершенно раздѣлся съ классицизмомъ и даже позволялъ себѣ довольно рѣшительные протесты противъ него, въ такомъ, наприм., родѣ: «чувство природы врожденно намъ, отъ грубаго дикаря до самаго образованнаго человѣка. *Противоестественное воспитаніе, насильственныя понятія, ложное направленіе, ложная жизнь*—все это стремится заглушить мощный голосъ природы, и часто заглушаетъ или даетъ искаженное развитіе этому чувству». Это—энергическій языкъ Павла, переставшаго быть Савломъ. Далѣе въ тѣхъ же «Запискахъ объ уженьи» вы встрѣчаете уже прямо краснорѣчивую апологію *деревни*, какъ представительницѣ *простоты*, и *природы*, какъ хранительницѣ и сосуду всяческой *правды*. Отрывокъ этотъ любопытенъ и по своей сущности и еще по тому, что въ немъ, какъ увидить читатель, имѣются мотивы, слишкомъ знакомые современному человѣку. Вотъ этотъ отрывокъ:

«Деревня, не подмосковная, далекая деревня,—въ ней только можно чувствовать полную, неоскорбленную людьми жизнь природы. Деревня—миръ, тишина, спокойствіе! Безыскусственность жизни, простота отношеній! Туда бѣжать отъ праздности, пустоты и недостатка интересовъ; туда же бѣжать отъ неугомонной, вѣшной дѣятельности, мелочныхъ, своекорыстныхъ хлопотъ, бесплодныхъ, бесполезныхъ, хотя и добросовѣстныхъ мыслей, заботъ и печеній! На зеленомъ цвѣтущемъ берегу, надъ темной глубиоу рѣки или озера, въ тѣни кустовъ, подъ шатромъ исполинскаго осокора, или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями въ свѣтломъ зеркалѣ воды, на которомъ колеблются или неподвижно лежать поплавки ваши,—улягутся мнимыя страсти, утихнутъ мнимыя

бури, рассыплется самолюбивыя мечты, разлетятся несбыточные надежды! Природа вступитъ въ вѣчныя права свои; вы услышите ея голосъ, заглушенный на время суетней, хлопотней, смѣхомъ, крикомъ и всей пошлостью человѣческой рѣчи! вмѣстѣ съ благовоненнымъ, свободнымъ, освѣжительнымъ воздухомъ—вдохнете вы въ себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхожденіе къ другимъ и даже къ самому себя. Непримѣтно, мало-по-малу, разсѣется это недовольство собою, эта презрительная недовѣрчивость къ собственнымъ силамъ, твердости воли и чистотѣ помысленій—эта эпидемія нашего вѣка, эта черная немочь души, чуждая здоровой натурѣ русскаго человѣка, но заглядывающая и къ намъ за грѣхи наши».

Вотъ что значитъ найти самого себя: въ этой прозѣ Аксакова, конечно, гораздо болѣе поэзіи, нежели въ его надутыхъ стихотвореніяхъ. Еще бы иначе! Глухая русская деревня, конечно, болѣе говорила сердцу и уму Аксакова, нежели героическая и миѳическая Эллада, и писателю нужно было заботиться только о томъ, чтобы выразить свое чувство, а не о томъ, чтобы предварительно *вызвать* это чувство, настроить себя на извѣстный ладъ. У Аксакова нашлись для этого достаточно яркія краски, такъ что, напримѣръ, описанія природы дышутъ у него такою свѣжестью, живостью и прелестью, какія не часто встрѣчаются въ литературѣ. Вы какъ будто не описаніе читаете, а картину созерцаете. Вотъ образчикъ:

«Пишетъ знойный полдень. Совершенная тишина. Не колыхнетъ зеленый, какъ весенній дугъ, широкій прудъ, затканный травами, точно спитъ въ отлогихъ берегахъ своихъ; камыши стоятъ неподвижно. Материкъ и чистые отъ травъ протоки блестятъ, какъ зеркала; все остальное пространство воды сквозь проросло разнообразными водяными растеніями. То ярко зеленые, то темноцвѣтные листья стелются по водѣ, но глубоко ушли корни ихъ въ тинистое дно, бѣлая и желтая водяныя лиліи, цвѣтъ лопуховъ, по-просту называемые кувшинчиками, и красные цвѣточки темной травы, торчащіе надъ длинными вырѣзными листьями — разнообразять зеленый коверъ, покрывающій поверхность пруда. Какая роскошь тепла! Какая нѣга и льгота тѣлу! Какъ пріятна близость воды и возможность освѣжить ею лицо и голову! Рыбѣ также жарко: она какъ будто сонная стоитъ подъ тѣнью травъ. Завидя лакомую пищу, только на мгновеніе лѣниво выплываетъ она на чистыя мѣста,

пронзаемая солнечными лучами, хватает добычу и сплшитъ подъ зеленые свои навъсы».

Успѣхъ обоихъ произведеній («Записки объ уженьи рыбы» и «Записки ружейнаго охотника») Аксакова былъ очень значителенъ,—успѣхъ литературный, а не матеріальный только. «Въ вашихъ птицахъ больше жизни, нежели въ моихъ людяхъ», говорилъ Аксакову Гоголь.

Отъ птицъ и рыбъ можно было рѣшиться перейти къ людямъ, и Аксаковъ не замедлилъ сдѣлать этотъ шагъ, написавши свою «Семейную хронику». Въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ говорить о судьбѣ этого произведенія слѣдующее: «успѣхъ моей книги удивилъ меня. Вы знаете, что мое самолюбіе не заносчиво и оно остается такимъ, несмотря на всѣ печатныя, письменныя и устныя похвалы, которыя иногда доходятъ до нелѣпостей. Я всегда зналъ, что у меня есть дарованіе, и говаривалъ, что я потому не пишу, что некому заставить меня писать; и меня заставили писать полуслѣпота и деревня. Я прожилъ жизнь, сохранилъ теплоту и живость воображенія, и вотъ отчего обыкновенный талантъ производить необыкновенное дѣйствіе». Это не только очень скромно и очень искренно, но и совершенно справедливо. Критика того времени, въ лицѣ Добролюбова, характеризовала талантъ Аксакова иными чертами: «талантъ г. Аксакова, — писалъ Добролюбовъ, — слишкомъ субъективенъ для мѣткихъ общественныхъ характеристикъ, слишкомъ полонъ лиризма для спокойной оцѣнки людей и произведеній, слишкомъ наивенъ для острой и глубокой наблюдательности». И опять-таки и въ этомъ много справедливаго. Если эти двѣ характеристики—авторскую и добролюбовскую—слить въ одну, такъ, чтобъ онѣ взаимно другъ друга пополняли и умѣряли, то читатель получитъ совершенно отчетливое представленіе о литературной физиономіи Аксакова.

Замѣтимъ прежде всего, что говорить о субъективности таланта Аксакова можно только въ узкомъ и условномъ смыслѣ, именно въ смыслѣ теплаго и любовнаго отношенія автора къ предмету описанія. Можно ли быть субъективнымъ, описывая наружный видъ, нравы, привычки—щуку, карасей, судаковъ, рябчиковъ и глухарей? Можно именно только въ указанномъ смыслѣ: авторъ не только описываетъ, но описываетъ съ любовью своихъ плавающихъ и летающихъ героевъ. Но въ этомъ смыслѣ субъективенъ и Бремъ,

авторъ «Жизни животныхъ», который не только рассказываетъ, описываетъ и классифицируетъ, но, какъ и Аксаковъ, принимаетъ живое участіе въ животныхъ, хвалитъ и порицаетъ, симпатизируетъ и не симпатизируетъ. Это не столько субъективность писателя, сколько увлеченіе аматера, горячность специалиста. Бываютъ лекторы математики, излагающіе свой предметъ съ страстнымъ одушевленіемъ и даже съ лирическими отступленіями, но нельзя же говорить о *субъективности* такихъ математиковъ.

Въ свои воспоминанія, въ свои описанія людей Аксаковъ цѣлкомъ перенесъ всё тѣ пріемы и ту манеру, которыми онъ пользовался при описаніи животныхъ. Если тутъ можно найти различіе, то исключительно количественное, а не качественное: о хищничествѣ шуки Аксаковъ рассказывалъ всю правду, о хищничествѣ какого-нибудь Куролесова—«десятую часть» правды. Конечно, «мѣткихъ общественныхъ характеристикъ» у Аксакова было бы напрасно искать, но его изображенія и картины давали обильный матеріалъ для такихъ характеристикъ, что и доказалъ Добролюбовъ собственной статьей о «Семейной хроникѣ». Нѣтъ у Аксакова и «спокойной оцѣнки», потому что нѣтъ вообще оцѣнки: его цѣли были не сатирическія, а художественныя,—не идейныя, а изобразительныя. Что же касается до отсутствія у Аксакова «острой и глубокой наблюдательности», то этихъ свойствъ и не требовалось Аксакову по грубости самаго сюжета: для того, чтобы замѣтить и запомнить, какъ наприм. Вагровъ таскалъ за косы свою старуху жену или какъ Куролесовъ засѣдалъ на смерть своихъ крестьянъ, не требовалось особенно «острой и глубокой наблюдательности». Аксаковъ рассказалъ правду о старинѣ, правду не полную, но подлинную, не подкрашенную—вотъ его художественная и общественная заслуга. Отвращаясь отъ злодѣяній, онъ сохранилъ къ злодѣямъ теплое чувство, какую-то родственную любовь, и если это нѣсколько оскорбляетъ насъ въ нравственномъ смыслѣ, если мѣстами, мы по праву хотѣли бы отъ Аксакова поменьше лиризма и побольше негодванія, то все-таки это обстоятельство не вредитъ фактической и даже художественной правдѣ разказа, а это—главное, что можно требовать отъ мемуаровъ. Лежачаго не бьютъ, говорить наша прекрасная пословица, а крѣпостное право было для Аксакова лежачимъ врагомъ. Спокойный разказъ Аксакова не успокаивалъ читателя, не усыплялъ его совѣсть, а, напротивъ, возбуждалъ въ немъ

чувство ответственности и вмѣстѣ съ тѣмъ давалъ залогомъ для будущаго. Неумолимый скептикъ, Добролюбовъ закончилъ свой разборъ произведеній Аксакова почти восторженной тирадой: «Горькое, тяжелое чувство сдавливаетъ грудь при воспоминаніи о давно минувшихъ несправедливостяхъ и насиліяхъ... Но радостно бьется сердце при мысли, что мы уже пережили эти времена, что теперь блеститъ уже новый день, что грядущія поколѣнія ожидаетъ не принужденный трудъ безъ вознагражденія, а свободная, живая дѣятельность, полная радостныхъ надеждъ на собраніе плодовъ, на неотъемлемую, собственную жатву того, что посеяно. Скорѣе же прочь всѣ остатки отжившихъ свое время предразсудковъ! Свокорыстные расчеты и привычная лѣнь должны умолкнуть предъ величіемъ общаго начинанія ко благу человѣчества. Голосъ правды, голосъ любви призываетъ: не время оставаться въ прежней праздности и апатіи. Пусть воспоминанія того поколѣнія, которое возрастаетъ теперь, представлятъ наше общество въ лучшемъ свѣтѣ, нежели въ какомъ являются предъ нами, въ воспоминаніяхъ правдивыхъ современниковъ, люди конца прошедшаго столѣтія!...» Прекрасныя слова, преисполненныя мужественной увѣренности въ лучшее будущее. Но если надо быть Добролюбовымъ, чтобы сдумать сказать такія слова, не забудемъ все-таки, что они были вызваны «воспоминаніями правдивыхъ современниковъ», т.-е. безхитростнымъ рассказомъ Аксакова.

«Хроника» Аксакова, появившаяся въ половинѣ пятидесятихъ годовъ, была недурнымъ аргументомъ для подготовлявшейся уже въ то время реформы 61 года. Въ видѣ послѣдняго замѣчанія скажемъ, что скоро наступившая преобразовательная эпоха оказалась далеко не по плечу Аксакову. За всѣмъ тѣмъ память добродушнаго мемуариста остается и въ этомъ случаѣ незапятнанной: онъ относился къ этой эпохѣ съ сомнѣніемъ, но не съ порицаніемъ, — съ заботой, а не съ озлобленіемъ. Это настроеніе Аксакова рельефнѣе всего выразилось въ его стихотвореніи. «При вѣсти о грядущемъ освобожденіи крестьянъ». Вотъ заключительныя строфы этого стихотворенія:

Какъ проснется жизнь народа,
 Какъ прервется тяжкій сонъ?
 Тихая-ль взойдетъ свобода
 И неизблемый законъ?

Въ церковь ли пойдешь съ смиреньемъ,
Иль, начавши кабакомъ,
Всѣ свои недоумѣнья
Порѣшишь ты топоромъ?

Какъ узнать? Судебъ народныхъ
Не проникнуть въ мракъ и даль,
Не постичь путей исходныхъ,
Богомъ вписанныхъ въ скрижали.

Сомнѣнія эти были наивны и напрасны, но и въ нихъ слышится любовь, а не злоба,—не эгоистическое опасеніе за свое личное благосостояніе, а встревоженное патриотическое чувство. Чисто-сердечный, простодушный, гуманный и доброжелательный идеализмъ остался вѣренъ себѣ до конца.

ПОЭТЪ „ЗАБЫТЫХЪ СЛОВЪ“